

ДЖ. Н. ФИНДЛИ

## Время: Рассмотрение некоторых головоломок\*

Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать причины некоторых наших постоянных путаниц, связанных с идеями времени и изменения. Мы не предполагаем разрешить все эти трудности, скорее — прояснить, откуда они появились, чтобы морочить нас. Ибо мы будем исходить из того, что они имеют свое происхождение не в какой-то подлинной затемненности нашего опыта, но в том, как мы думаем и говорим, и мы будем также исходить из того, что ясное осознание этого происхождения и есть единственный способ излечиться от них. Ясно, что в некотором обыденном фрейме сознания мы не найдем идеи, в соответствии с которой время так трудно понять: ведь мы фактически всегда со знанием дела обращаемся с тем, что мы можем описать как «темпоральные ситуации». Мы имеем дело с такими ситуациями всякий раз, когда говорим без какого-либо колебания, что это длится дольше, чем то, что это произошло одновременно с тем, что это только что случилось, а то случится вот-вот. У нас не возникает трудностей с тем, чтобы объяснять другим людям, что мы подразумеваем под подобными формами утверждений, а также убеждать их в том, что мы используем эти утверждения истинно и подходящим образом. Но, увы, так же ясно и то, что все эти формы утверждения и ситуации, которые они описывают, кажутся способными создавать удивительную путаницу в сознании некоторых людей: так, люди склонны говорить, что время «парадоксально», «противоречиво», «таинственно» и задавать вопросы о том, как «возможны» определенные вещи, реальность которых кажется очевидной. Так, спрашивают, как это «возможно» для кого-либо достичь конца фазы постоянного изменения или как это «возможно», что то, что есть, в какой-то момент прекращает быть, или как это «возможно», чтобы длительность чего-либо, что происходит, имела бы протяженность и измерение. Во всех этих случаях кажется резонным заметить, что суть доказательства состоит в том, что имеется подлинная проблема или трудность у человека, который

\* J. N. Findlay. Time: A treatment of some puzzles // Logic and language (First series) / Ed. Antony Flew. Oxford: Basil Blackwell, 1952.

чувствует ее, а не у человека, который отказывается покидать почву обычного способа речи. И определенно кажется странным, что люди, которые всегда имели дело с изменяющимися объектами и ситуациями и весь язык которых в целом прекрасно адаптирован и приспособлен к этому, вдруг заявляют, что обнаруживают время очень странным. Если время действительно так странно, можем мы спросить, то на что же более обычное и понятное мы можем опереться, чтобы объяснить время или пролить свет на его природу? Мы действительно можем рассматривать время как некий странный беспорядок, который люди, все свое время проводящее «во времени», вдруг обнаруживают и говорят об этом так, как будто они — пришельцы из вечности. И наша задача в том, чтобы излечить их от этого недомогания путем ясного осознания его причин. Существует на самом деле «короткий способ борьбы с головоломками», который исследует «возможность» совершенно обычных и понятных ситуаций: мы можем просто указать на некоторые примеры последнего рода, что создают путаницу, и сказать: «Это возможно так-то и так-то». Так, если человек спросит меня: «Как возможно, что то, что было, перестает быть?», — я могу просто согнуть свой палец и сказать «Сейчас мой палец согнут», затем разогнуть его и сказать: «А сейчас перестал быть согнутым». Вот как возможно, чтобы то, что имело место, перестало иметь место<sup>1</sup>. Но такая целесообразная процедура, сама по себе весьма подходящая, вряд ли сможет устранить путаницу у задающего подобные вопросы, несмотря на то, что он на «ты» с обычным языком, так же как и мы с вами.

Изучение временных головоломок будет также служить иллюстрацией исследования, которое может быть применено ко многим другим вопросам и трудностям. Поскольку некоторые люди слишком легко впадают в плохое настроение, в котором они чувствуют, что есть нечто таинственное и сомнительное относительно тех вещей, которые они обычно рассматривают как самые элементарные и очевидные. Тогда они начинают задавать вопросы, которые кажутся странными, потому что непонятно, как на них отвечать. Так, человек удивляется, как это возможно, чтобы некоторое число определенных вещей могло быть частью одного и того же качества, или действительно ли он тот же самый человек, которым был год назад, или почему существует этот мир, а не какой-то другой. И вот в обычных нерелективных модальностях сознания мы бы рассматривали эти вопросы как такие, на которые вообще невозможно ответить, или такие, на которые невозможно ответить временно, но наш вопрошающий явно хочет получить ответ и не хочет получать очевидного ответа. Ясно, в частности, что мы не можем препроводить путаницу нашего вопрошающего к практике опыта, указав на что-либо, что и он, и мы можем наблюдать. Потому что он и так имеет все виды опыта, которые могли бы пролить свет на его проблему, а он все-таки озадачен. Кажется, яснее некуда, что там, где простейшие и наиболее обычные примеры каких-ли-

<sup>1</sup> Этот пример и общий метод, определяющий его, был предложен профессором Муром в его доказательстве существования внешнего мира. Он доказывает существование объектов путем демонстрации того, что у него есть две руки, поднимая обе руки и говоря, что раз он сделал определенный жест своей правой рукой, то, значит, «здесь находится рука», и добавляя, проделав тот же жест левой рукой, — «а вот и вторая рука». (См. Мур. Дж. Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избр. тексты / Под ред. А. Ф. Грязнова. М., 1993. — *Прим. перев.*)

бо случаев производят путаницу, мы не можем надеяться устранить эту путаницу или даже «усмирить» ее, приведя в качестве примеров сходные случаи, некоторые из которых выглядели бы странными или в высшей степени сложными. Мы, соответственно, отброшены назад к нашему предположению, что существуют некоторые вопросы, которые осаждают нас не потому, что есть нечто подлинно проблематичное в их переживании, но потому, что способы, при помощи которых мы говорим об этом опыте, не конгруэнтны им или неудовлетворительны каким-либо иным образом. Порой мы впадаем в настроенное вопрошание не потому, что не знаем дальнейших фактов, но потому, что хотим дознаться более ясных или менее рассогласованных, диссонирующих или, по крайней мере, различных путей вербального обращения с полноценными фактами. Таким образом поставленные вопросы, ясное дело, не имеют ответа в более или менее обыденном смысле слова «ответ», тем не менее, мы можем надеяться оживить их, прояснив осознание лежащих в основе стремлений, которые возбуждают их, а также посредством применения таких способов речи, которые обеспечивают умиротворение этих стремлений.

Есть и другие причины, почему интересны наши трудности, касаемые времени. Эти трудности формируют относительно самодостаточную группу головоломок, которая, кажется, не переплетается слишком со многими другими философскими проблемами. Мы можем находить время трудным без того, чтобы находить трудным что-либо еще, но мы не могли бы быть озадаченными какой-либо материей или частью сознания или знания без того, чтобы не быть озадаченным практически чем-то еще. Следовательно, мы можем рассмотреть эти темпоральные головоломки более ясно по сравнению с другими проблемами; они обеспечивают, соответственно, простейшую парадигму метода. Эти головоломки также важны при рассмотрении тех философских трудностей, которые, кажется, расцветают с большей легкостью на временном поле, чем на каком-либо ином. Было бы надежно сказать, что быстрое изменение и «ничтожение прошлого» суть вещи, которые всегда могут быть сюда отнесены к досаде большого числа неутонченных людей и тем самым конституировать один из основополагающих мифов нашей вселенной.

Мы можем теперь указать на обстоятельство, которое определено ответственно за некоторые из наших трудностей, касающихся времени. Таковым представляется факт, что можно убедить человека употреблять определенные обычные локуции способом, который становится либо гораздо более широким и более общим, либо наоборот гораздо более узким и строгим. Этот процесс убеждения — только один из многих процессов, при помощи которых умелый диалектик может крутить, искажать, растягивать или разрывать сеть слов, которыми мы опутываем наш мир. Делая так, он опирается на тот факт, что границы языкового употребления редко бывают четкими, что всегда есть случаи, в которых просто сомнительно, является ли данная локуция применимой или нет, а еще к тому же существуют определенные смыслы глубоко сидящих в языке тенденций, которые облегчают языковые переключения в определенных направлениях. В частности, в том случае, который мы сейчас рассматриваем, ясно, что существуют слова и фразы, употребление которых очень легко расширить: легко убедить человека, что они действительно должны быть использованы в случаях, в которых никто до этого их не использовал.

И ясно также, что существуют слова и фразы, употребление которых очень легко сузить, так что они с легкостью убедят в том, что было «неправильно» или «неподходяще» употреблять их в случаях, когда мы прежде употребляли их без всякого колебания. И, возможно, для умелого диалектика, при помощи употребления большой палки, называемой «консистентностью» (*consistency* — согласованность, последовательность, логичность. — *Перев.*), с одной стороны, и второй большой палки, называемой «строгостью», с другой, убеждать нас употреблять такие формы речи столь широко, что они будут применимы к чему угодно или наоборот так узко, что они не будут применимы к чему-либо: результат в любом случае — превратить нечто, пригодное в речи, в нечто совершенно непригодное. Хорошие примеры подобных диалектических процессов были бы аргументами, приведшими нас к столь широкому употреблению слова «знать», с одной стороны, что мы бы, можно сказать, подобно монадам Лейбница, всегда знали бы все, или наоборот к столь узкому, что мы, можно сказать, не знали бы ничего. Конечно, в таком непомерном расширении или сужении референции нет ничего, что бы с необходимостью вело к парадоксам или проблемам. Если мы убеждаем человека употреблять слова определенным образом, по-новому, мы дезорганизуем его лингвистические навыки общения со временем, но нет никаких причин, почему бы он не мог быстро выстроить другие навыки, которые позволяли бы ему говорить об обыденных ситуациях так же ясно и так же быстро, как и раньше. Но неприятность состоит в том, что такое внезапное изменение системы употреблений может продуцировать временную дезориентацию, подобно мозговому шоку, от которого организм должен оправиться, и в интервале, который нужен, чтобы он справился с новой ситуацией, и новые связи заняли свое место, человек может с легкостью стать жертвой серьезных путаниц. Поскольку даже после того, как человека убедили использовать определенные фразы в определенных контекстах в совершенно новом смысле, он может еще вернуться назад к старым употреблениям в других контекстах: он может даже инкорпорировать оба типа употреблений в один и тот же контекст, давая, таким образом, возникнуть утверждениям и вопросам, которые вообще не могут быть употреблены при помощи какого-либо способа речи.

И вот в том, что касается времени, ясно, что в языке имеется сильная тенденция использовать термины, связанные с «настоящим», в возможно более строгом смысле, так что если эта тенденция осуществляет свой предел, то термины, о которых идет речь, перестают обладать каким-либо применением или, в лучшем случае, применяются в романах, да притом искусственно. Ясно также, что некоторые проблемы времени связаны с этим фактом. Нас можно легко убедить употреблять настоящее время с темпоральным наречием «сейчас» (точно так же, как прошедшее или будущее со словами «тогда», «в это время» и т. д.) во все более и более строгом смысле; и если мы полностью поддадимся на это давление, наши обыденные речевые навыки будут дезорганизованы. Наше употребление настоящего времени и временного наречия «сейчас» не является слишком строгим в обыденных обстоятельствах: мы готовы сказать, даже в случаях, которые имели место некоторое время назад, что они происходят сейчас, например, когда мы говорим: «Сейчас пели *National Anthen*», «Сейчас проходили дерби» и т. д. И вот настоящее время

и временное наречие «сейчас» может быть своего рода речевой формой, которую мы стремимся использовать все более и более широко, так что мы в конце концов можем с легкостью убедить себя сказать: «История Англии сейчас прекращает свое течение» или «В настоящее время происходит тепловая смерть Вселенной». Мы далее в состоянии дать убедить себя разрешить, что нечто в целом не может произойти сейчас, пока все его составляющие части тоже не происходят сейчас: Джон сейчас действительно поет «Magna Carta», жизнь на Земле действительно существует и так далее. Проблемы, которые этот способ говорения может возбудить, могут быть вполне серьезными. Естественное развитие речевых форм, которые мы рассматривали, не лежит, разумеется, в этом направлении. Мы скорее стремимся, если на нас надавят, использовать настоящее время и временное наречие «сейчас» все более и более узко: так, если нам скажут, что «Теперь поет National Anthem» и кто-то спросит: «Но что они поют вот непосредственно сейчас?», мы не расширили бы нашу референцию, чтобы покрыть весь вечерний концерт, но сузили бы ее, чтобы применить ее к некоторой мелодии, фразе, слову или ноте. И вот пока наши тенденции лежат в этом направлении, нас легко можно убедить давать реплики о том, что нечто, что занимает время, которое можно воспринять, происходит сейчас. Мы можем дать себя встроить в допущение, что это «потерянный» и «неточный способ говорения». И, возможно, это нас воодушевит, если нам гарантируют, что подлинно строгий говорящий не стал бы использовать подобные формы речи за исключением того случая, когда событие было столь коротким, что оно вообще не заняло никакого времени. Таким образом, мы можем воодушевить человека вначале допустить, что ничего из того, что было в прошлом, ничего из того, чего более нет, а потом сказать об этом, что оно произошло сейчас. Затем мы можем заставить его принять дополнительный принцип, в соответствии с которым ни о чем из того, часть чего лежит в прошлом, нельзя сказать, что оно происходит сейчас. Затем мы можем убедить его гарантировать относительно любого происшествя, которое «занимает время», что оно не происходит «все сразу», но по частям, которые происходят одна за другой, и что, когда любая из этих частей происходит, все остальные части либо уже произошли, либо только произойдут. Тогда становится легко доказать, что ни об одном событии, которое имеет протяженность во времени, нельзя сказать, что оно имеет место, и что только о его частях можно с полным правом сказать, что это такие части, которые вообще не занимают никакого времени.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Характерный исторический пример этого аргумента содержится в «Исповеди» Августина (Кн. XI: 19, 20): «Сто лет настоящего времени — это долго? Посмотри сначала, могут ли все сто лет быть в настоящем? Если из них идет первый год, то он и есть настоящее, а остальные девяносто девять — это будущее, их пока нет. Если пойдет второй год, то один окажется уже в прошлом, другой в настоящем, а остальные в будущем. Возьми, как настоящий, любой год из середины этой сотни: бывшие до него будут прошлым, после него начнется будущее. Поэтому сто лет и не могут быть настоящим. Посмотри дальше: тот год, который идет, будет ли в настоящем? Если идет первый его месяц, то остальные — это будущее; если второй, то первый — это прошлое, остальных месяцев еще нет. Следовательно, и текущий год не весь в настоящем, а если он не весь в настоящем, то и год не есть настоящее. Двенадцать месяцев составляют год; из них любой текущий и есть настоящее; остальные же или прошлое или будущее. А, впрочем, и текущий месяц не настоящее; настоящее — это один день; если он первый, то остальные — будущее; если последний —

Во всех этих аргументах нас убеждают применить лингвистические принципы, которые мы использовали в случае событий сравнительно длительной протяженности, к событиям очень короткой протяженности; мы не обязаны это делать, но на нас можно легко надавить, чтобы мы «соответствовали» этой манере, ведь нет ясных различий между длинным и коротким. Но результат принятия подобного прессинга — это преобразование обычного способа говорения в такой, который не имеет употребления. Ибо очевидно, что все события, на которые мы можем указать (в некоем обыденном значении слова «указать»), занимают время, и что само указание занимает время, так что, если единственные события, о которых мы можем сказать «Это происходит сейчас», — это события, которые не имеют временной протяженности, то не существует событий, на которые мы могли бы указать и сказать «Это происходит сейчас». Но, конечно, из этого не следует, что фразам и предложениям, не имеющим временной протяженности, не может быть придано ясного и полезного значения: ясно, на самом деле, что очень отчетливое и полезное значение должно быть им дано, например, целым рядом математиков и философов. Но ясно также и то, что эти новые формы речи, могут, во-первых, служить лишь для дезорганизации речевых привычек и что, когда это кончается, мы можем оказаться неспособными дать какое-либо ясное и полезное значение словосочетанию «событие не имеет временной протяженности»; мы можем стремиться говорить о них так, как если бы они были событиями, на которые мы можем указать, в том смысле, в коем мы можем указать на события, имеющие временную протяженность, и в дальнейшем бездумно наделять их многими свойствами событий, которые имеют протяженность во времени. Такой способ говорения, ясное дело, может привести к возникновению вопросов, на которые невозможно будет ответить.

После этого предварительного рассмотрения одного из источников наших временных трудностей, мы можем вернуться к августирианской проблеме, которая рассматривается в одиннадцатой книге «Исповеди». Здесь целесообразно процитировать следующий фрагмент: «Как мы можем говорить о чем-либо, что оно занимает долгое время или короткое время? Как может время иметь протяженность? И как эта протяженность может быть измерена?» Что же это было, можем спросить мы, что Августин находил столь трудным в идее протяженности и измерения времени? Ну, мы можем разграничить три аспекта этого замешательства, которое служит основанием любого другого замешательства. Он находил трудным, в первую очередь (как можно

то остальные прошлое; если любой из средних, он оказывается между прошлым и будущим. Вот мы и нашли, что долгим можно назвать только настоящее, да и то сведенное до однодневного срока. Расчленим, однако, и его: ведь и один день в целом — не настоящее. Он состоит из ночных и дневных часов; всего их двадцать четыре. По отношению к первому часу остальные — будущее; по отношению к последнему — прошлое; по отношению к любому промежуточному бывшие до него — прошлое; те, которые наступят, — будущее. И самый этот единый час слагается из убегающих частиц: улетевающие — в прошлом, оставшиеся — в будущем. Настоящим можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части, но он так стремительно уносится из будущего в прошлое! Длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего; настоящее не продолжается. Где же то время, которое мы называем долгим» (Здесь и далее тексты из Августина приводятся по изданию: Августин Аврелий. Исповедь. М.: Республика, 1992. — *Прим. перев.*).

предположить), понять, как события, которые не имеют протяженности во времени, могут быть «добавлены» к событиям, которые имеют временную протяженность<sup>3</sup>. Эта трудность не является специфической для наших размышлений о времени, но применима равным образом и к пространству. Кажется абсурдным говорить, что совокупность событий, протяженность каждого из которых равна нулю, будучи собранными вместе может обрести протяженность большую, чем ноль. Эта материя может быть рассмотрена в более сильных терминах. Мы склонны говорить, что, если протяженность событий сводится к нулю, «то от них ничего не остается», что они «просто ничто»<sup>4</sup>. Мы можем рассматривать это как одну сторону августинианской проблемы. Вторая, несколько иная проблема состоит в том факте, что места действия любого события, которое имеет временную протяженность, никогда не совпадают. Но абсурдно говорить о количестве вещей, которые никогда не происходят одновременно, но всегда врозь, что они иногда могут быть эквивалентны чему-либо или формировать целое какого-либо типа: это было бы подобно тому, как если бы кто-то попытался построить дом при помощи кирпичей, которые все время отталкивали бы друг друга, так что каждый из них отодвигался бы, когда другой приближался к нему. По крайней мере, кажется, никто не смог бы построить дом без какого-либо временного интервала. Но августинианская проблема имеет свою третью сторону, которая, кажется, тоже отчасти его беспокоила: если мы измеряем временной интервал, то мы должны измерять нечто, лишь чье исчезающее сечение имеет реальность: все остальные его части, которые дают его ширина и объем, либо еще не существуют, либо уже не существуют. И вот довольно трудно усвоить, как мы можем измерять что-либо, что больше не существует, что «прошло и былшем поросло», о чем мы пытаемся сказать, что это «просто ничто». И так же трудно понять, как мы можем измерять нечто, чего еще нет, что еще только ожидается, что мы точно так же пытаемся описать как «ничто». Это все равно, как измерять здание, которое в целом еще существует, но существеннейшая часть которого разрушена бомбой. В такой ситуации мы бы не стали измерять здание, и, кажется, что именно в таком же положении мы находимся относительно временной протяженности<sup>5</sup>.

Мы укажем теперь вкратце на несколько способов — существует неопределенно большое число таких способов, — при помощи которых мы могли бы избежать этих августинианских путаниц. Мы можем, прежде всего, отклонить весь аргумент в целом, аргумент, вследствие которого мы были вынуждены сказать, что существует некоторое количество событий, которые не имеют временной протяженности, и что только они могут быть подлинным настоящим. Мы можем отказаться от того, чтобы говорить, что определенные собы-

<sup>3</sup> Августин: «Настоящее не имеет протяженности.... Где же то время, которое мы называем долгим?» См. цитату выше.

<sup>4</sup> Августин: «Настоящее оказывается временем, только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет!»

<sup>5</sup> Августин: «В каком же промежутке измеряется время, пока оно идет? В будущем, откуда оно приходит? То, чего еще нет, мы измерить не можем. В настоящем, через которое оно идет? То, в чем нет промежутка, мы измерить не можем. В прошлом, куда оно уходит? То, чего уже нет, мы измерить не можем».

тия чрезвычайно коротки, что любая из их частей находится в прошлом или будущем; в нормальном случае мы действительно не употребляем прошедшее или будущее время в разговоре о частях чрезвычайно коротких событий, одновременных по отношению к нашему употреблению. С другой стороны, мы можем сказать, что некоторые достаточно короткие события могут быть «представлены как целое», хотя наибольшее количество его частей это прошлое или будущее; такой подход тоже находится в согласии с обыденным употреблением, так как мы говорим, что многие довольно длительные события происходят в настоящий момент, хотя о некоторых отдаленных частях этих событий мы бы скорее говорили в прошедшем или будущем времени. Или опять-таки мы можем отрицать — как Уайтхед в своей доктрине эпохальной протяженности, — что определенные очень короткие события приходят к существованию часть за частью. Фактически не существует ясного эмпирического значения, которое можно было бы придать предположению о том, что все события приходят к своему осуществлению часть за частью, поскольку здесь должен с необходимостью быть установлен предел делимости события человеческим суждением или инструментом. Или опять-таки мы можем выбрать следование определенным линиям развития языка и сказать относительно очень коротких событий, что они «вообще не имеют протяженности во времени», тем самым исключая идею деления на части с самого начала.

Желательно в нашем случае, чтобы слова были консистентны, но нежелательно делать из консистентности фетиш. Консистентность в языке обязательна, если она означает, что мы в данном контексте становимся жертвой конфликтов: что мы пытаемся сказать что-либо, если мы, в то же время, стремимся не говорить этого. Консистентность также весьма желательна, если она подразумевает, что мы бываем ведомы аналогией с вещами, о которых мы говорим в различных контекстах; в отсутствии некоторой степени такой консистентности все языки станут произвольны и коммуникация будет невозможной. Но консистентность совершенно нежелательна, когда она становится жупелом, когда она заставляет нас говорить нечто в одном контексте только потому, что мы сказали это в другом, более или менее аналогичном контексте, и если она затем приводит нас к тому, чтобы говорить в дальнейшем вещи, которые смущают и запутывают нас.

Вот так далеко мы преследовали линию, которая разворачивает диалектику, обнаруженную августинианской проблемой. Поступая так, мы отказываемся придавать смысл фразе «события, которые не имеют протяженности во времени» и не обязаны говорить, что только они в подлинном смысле присутствуют в настоящем. Представим, тем не менее, что мы, тронутые этой диалектикой или по причинам научного удобства, решили принять этот разговор «о моментально присутствующем в настоящем», — как тогда мы будем иметь дело с различными аспектами августинианской проблемы? Что касается первого аспекта, построения целого, которое имеет протяженность вне своих частей, не обладающих протяженностью, мы можем просто указать на то, что здесь смешиваются обыденный смысл, в котором кучка денег состоит из монет, с новым смыслом, в котором некое событие, которое имеет протяженность во времени, может быть построено на основе событий, не имеющих такой протяженности. Потому что как нельзя испытать судьбу, де-

лая нулевую ставку, так невозможно построить измеряемую протяженность из частей, которые не имеют протяженности. Но эти ситуации совершенно различны; никто не засвидетельствовал промежуток времени, который был бы построен из отдельных случаев, как он может свидетельствовать, что кучка денег состоит из монет; и первое вообще невозможно вообразить так, как можно вообразить второе. Следовательно, если мы хотим говорить о «событиях, не имеющих протяженности во времени», мы вполне свободны, чтобы зафиксировать то, что может быть о них сказано, а это означает, что мы можем просто установить правило, в соответствии с которым события, имеющие протяженность во времени, созданы-таки из событий, которые такой протяженности не имеют. И, однажды избежав заводящую в тупик картину, мы обнаружим, что никакой проблемы нет. Мы можем тем же способом избежать трудностей, которые возникают из-за тенденции говорить, что событие, которое не имеет протяженности во времени, будет «просто ничем». Либо мы должны умерить это стремление, — которым мы вовсе не обязаны быть ангажированы, — либо быть готовыми сказать, что определенные части реальных временных целых являются просто ничем и что лишь ничто во времени может иметь определенные свойства. Этот способ разговора, без сомнения, разрушит наши привычки и повлечет опасные последствия, но, попрактиковавшись в нем немного, мы найдем его не таким уж сложным.

Второй аспект августирианской проблемы включает сходную путаницу. Потому что было бы абсурдным говорить об определенных целостностях — домах, горах или библиотеках, например, — что они существовали и их можно было измерить, хотя их части не были никогда вместе, и мы полагаем, что было бы абсурдным говорить то же самое о событиях. Но факт остается фактом: мы не стали бы говорить, что некоторые из вещей, которые мы называем частями, могут конституировать вещи, которые мы называем целым; до тех пор пока они присутствуют вместе в настоящем, мы не обязаны этого говорить в случае других вещей, которые мы тоже называем частями и целыми. Потому что в том смысле, в котором части это части, а целые — целые, и первые формируют последние, нужно взять за правило различать два класса случаев: мы можем сказать, что мы имеем дело с двумя совершенно различными типами частей и целых. И мы действительно вводим такое правило; ибо мы полагаем нонсенсом — говорить о событии, имеющем временную протяженность, что его части присутствуют в настоящем вместе. И мы осознаем различие между двумя классами случаев, говоря о сосуществующих частях в одном классе случаев и о последовательно сменяющихся друг друга частях в другом классе: последовательные части целого это фактически такие части, которые не нуждаются в том, чтобы сосуществовать вместе. Но если мы чувствуем себя совершенно неприспособленными для того, чтобы назвать целым что-либо, чьи части не сосуществуют вместе, мы можем просто ввести правило, в соответствии с которым вещи могут обладать величиной, хотя они не являются целыми.

Что касается третьей трудности Августина — как мы можем быть способны измерять нечто, что отчасти уже в прошлом, — мы вновь предложим несколько альтернатив. В первом случае мы можем отказать в аналогии между измерением сосуществующего целого, как, например, дом, который в этом смысле не может быть измерен, если какие-то его части покоятся в прошлом, и из-

мерением последовательного целого, такого, как происходящее событие, которое должно иметь части в прошлом. Или мы можем последовать неким другим тенденциям языка и сказать, что мы имеем последовательность в настоящем, что определенные события, которые не слишком велики по протяженности, в состоянии присутствовать в настоящем как целые и, стало быть, могут быть измерены. Другие длительные события могут быть тогда измерены посредством более коротких и измеряемых событий, входящих в их историческую память. Или если нас беспокоит «ничтожность прошлого», мы должны помнить, что нас никто не заставляет говорить, что прошлое это ничто: мы можем, если захотим, наделить его существованием или субсистенцией или придать ему какой-то другой удобный статус. Нас беспокоит «ничтожность прошлого», поскольку она останавливает наши поиски каких-либо фактов прошлого, потому что ничтожность, подобно детям холостяка, останавливает наш вопрос об их возрасте или появлении на свет. Но здесь имеется так много ясных и согласованных способов достижения того, что произошло в непосредственном или удаленном прошлом, что было бы нонсенсом рассматривать прошедшие события с позиций детей холостяка. Но если «существование» в прошлом собирается достичь нас посредством некоторого приема, ожидающего или посещающего прошлое, примерно так, как мы могли бы оживить утопленника или посетить Палермо, тогда, может быть, лучше продолжать говорить, что прошлое это ничто, разрешая, так или иначе, что оно может быть измеримым целым, которое имеет определенные части, представляющие собой ничто.

Головоломки Августина ведут естественным путем к проблемам Зенона или, скорее, к определенному затруднению чрезвычайно общего характера, которое кажется включенным во все Зеноновы парадоксы. Такова трудность в понимании того, как нечто может произойти, если до него должно было произойти что-то еще, а до этого должно было произойти что-то еще и так далее до бесконечности. Если мы представим время континуальным и бесконечно делимым, мы также почувствуем себя обязанными сказать, что прежде чем некоторое событие закончилось, должно было закончиться бесконечное множество предыдущих событий, а это, кажется, означает, что ни одно событие не может никогда закончиться. Мы оказываемся в положении бегуна с факелом, который хочет передать свой факел другому бегуну А, но А говорит, что он может взять эстафету лишь от В, который сказал ему, что он сможет взять ее от С, который сказал ему, что он может взять ее только от D, и так далее до бесконечности. Или мы оказываемся в положении человека, который хочет взять интервью у министра и которого министр информирует, что он должен сначала обсудить это дело с секретарем, который информирует его, что он должен обсудить это сначала с главным советником и т. д. и т. д. Наш бегун очевидным образом никогда не сможет передать свою эстафету, а наш интервьюер, очевидно, никогда не увидит своего министра, и это выглядит так, как если бы все события включали в себя одну и ту же безнадежную трудность. Трудность, которую мы представляем, конечно, не тождественна ни одной из исторических головоломок Зенона: во всех них трудности, связанные с протяженностью, усложнены введением изменения и движения. Но ясно, что все эти головоломки могли бы заявить о себе как об имеющих дело с событиями безотносительно к тому, изменяются ли эти события или остаются неизменными, а также безот-

носителем к тому, включают ли они движение или нет. Слива, продолжающая висеть на дереве определенный период, позволяет менее драматично разрешить философскую путаницу того же рода, что и стрела летящая по воздуху. Более того, когда мы решаем проблему Зенона в пространственной и других обертках, ее важность становится яснее. Потому что она не является по существу проблемой пространства или количества, но лишь проблемой времени: она в чем-то является проблемой пространства или количества, но в главном — лишь времени: это так, потому что лишь движение сукцессивно, потому что бесконечность положений должна проходить до любого последующего положения, так что возможность такого движения, кажется, совершенно исключена. Если бы бесконечные стадии движения могли существовать одновременно, как части куска пространства, мы бы не чувствовали никаких проблем в том, что число их бесконечно. Поэтому глупо воображать, что мы можем встретить головоломки Зенона при помощи новой теории континуума или фактами бесконечных конвергентных числовых рядов (такая точка зрения высказывалась Уайтхедом; см. «Процесс и действительность», с. 95). И проблема приобретет наиболее мучительную форму, если мы разрешим, чтобы обыденные события имели конечные части, не обладающие протяженностью во времени. Поскольку для таких частей кажется наиболее естественным сказать, что ни одна из них не может быть последней по отношению к другой, и если это однажды произнесено, то трудно понять, как любая конечная часть может когда-нибудь пройти или быть замененной другой частью. Потому что прежде чем такая часть сможет быть заменена другой сходной частью, она должна быть заменена бесконечным числом других сходных частей. Наше допущение, кажется, оставляет нас с миром, неподвижным и парализованным, где каждый объект и процесс, как стрела Зенона, все еще застыли на одном месте по той простой причине, что у них нет способа пройти через другие моменты.

Как и ранее, мы можем рассмотреть наши трудности различными способами. В первую очередь, мы можем отрицать, что слишком короткие события так же членимы, как длительные события: понятие о делимости всех событий, во всяком случае, не имеет ясного смысла. Такова линия, которой придерживается профессор Уайтхед, заставляющий время течь в «неделимых каплях» и говорящий, что это «прозрачная последовательность эпохальных протяженностей». Но мы можем придать всему этому разговору о событиях и бесконечной делимости последовательный гораздо менее радикальный смысл, считающийся с очевидными фактами нашего опыта, а именно: что вещи случаются и что фазы переживаются, что мир не является неподвижным и что нам редко предоставляется возможность обдумывать способы прохождения по новым стадиям. Бесконечные события, которые должны появляться перед тем, как данное событие произойдет, не похожи на обычные события, которые мы видим и на которые показываем, о которых абсурдно было бы сказать, что бесконечный ряд чисел когда-нибудь заполнится до конца. Это события нового типа, которым должно быть произвольно придано некое значение. И поскольку мы должны придавать значение этим событиям, это наше дело — понимать, что они не означают ничего, что бы противоречило нашим проторенным путям говорения о вещах. И как только мы открываем их картиноподобную живость, мы также открываем их загадочный

характер. Наша проблема также исчезает, когда мы замечаем, что даже быть «безнадежно неподвижным», «обдумывать прохождение по новым стадиям», были бы одними и теми же (если бы вообще это было чем-то) ситуациями, которые заканчивались и требовали временной протяженности. Наша проблема поэтому берет за основу ту самую вещь, которую находит столь трудной.

Мы поворачиваем нашу дискуссию от этих августинианских и зенонианских трудностей к различного рода временным головоломкам, совершенно не связанным с нашим стремлением использовать настоящее время в более узком и строгом смысле. Мы рассмотрим вкратце наиболее общий эффект удивления, который находит нечто «невразумительное» или «противоречивое» во времени и изменении. «Как это возможно», любим мы иногда спрашивать, «чтобы все объекты и люди вокруг нас уходили в прошлое и чтобы новый порядок объектов и людей таинственно возникал из будущего». Удивлению такого рода наиболее сильно подвержен процесс быстрого изменения: мы поражаемся вещам, которые не имеют постоянного качества для какой-либо длины времени, хоть сколько-нибудь короткой. Сходная путаница мучает нас в отношении к «истинам» или «фактам»: мы поражаемся, как то, что происходит, может больше никогда не произойти, или как то, что было ложно тогда, может стать истинным сейчас, и так далее. На этой неделе персики в нашем саду не цветут; на следующей неделе мы обнаруживаем, что они зацвели; на следующей неделе мы находим, что они уже не цветут, а завяли: в определенных фреймах нашего рассудка мы обнаруживаем эту особенность труднодостижимой. Наша трудность относительно изменения может также быть выражена в терминах «событий» и их «свойств» — «прошлости», «настоящести», и «будущести», форма, в которой эта проблема была предложена МакТаггартом. Мы удивляемся, как это происходит, что события, которые вначале были отдаленным будущим, становятся более близким будущим, как они в конце концов становятся настоящим и как из настоящего переходят в прошлое и как они становятся все более и более отдаленным прошлым. МакТаггарт ясно показал, что мы не можем решить эту проблему (если это вообще проблема), взяв за основу «различные времена», в которых события являются настоящими, прошедшими и будущими до тех пор, пока они сами (что бы под ними ни подразумевалось) имеют место в прошлом, настоящем и будущем, и, таким образом, мы включаем самую сложность, которую они вызываются устранить.

И вот трудно понять, если мы остаемся на некоем обыденном нерелевантном уровне сознания, в чем состоит проблема, которая возникает для тех, кто говорит, что они не могут понять, как то, что имеет место в одном времени, не имеет места в других временах, или что они не могут понять, как событие в будущем переходит в событие в прошлом. Как мы указали в начале этой статьи, было бы возможно решить эти трудности, указав на некоторые обыденные события вокруг нас, например, ныряние человека, и, как это бывает, говоря: «Сейчас он еще не ныряет», «Сейчас он ныряет», «Сейчас он уже больше не ныряет» или другие подобные фразы. И если бы человек был реально озадачен нашим словоупотреблением в такой ситуации, ему не представило бы больших трудностей усвоить его. У нас обычно не возникает трудностей в знании того, что сказать о событии, когда оно происходит, и не возникает тенденции сказать или ни сказать одну и ту же вещь в данном контексте.

ксте, своего рода непоследовательность, которая редко бывает желательной. Иногда, когда изменение происходит быстро, мы можем обнаружить растерянность, говорить ли, что нечто является или не является желтым, или является ли оно или было желтым: с нашей стороны может также возникнуть тенденция сказать и то и другое или не сказать ни того ни другого. Но все это означает только, что мы потеряли устойчивый и удовлетворительный способ говорения о чрезвычайно быстро изменяющихся вещах. Однако в случае изменения, которые не так быстры, мы находим себя вполне свободными от противоречия или путаницы. Прежде чем событие происходит, мы говорим (если очевидно, что оно еще не произошло), что оно еще не произошло, но что оно произойдет; в то время, когда оно происходит, мы говорим, что оно сейчас происходит, что оно не прекращает происходить или что оно вот-вот произойдет, а после того, как оно произошло, мы говорим, что оно произошло, что оно больше не происходит, что оно не собирается происходить. Установление в словах этих семантических правил, как может показаться, идет по кругу, но выученные в непосредственной связи с конкретной ситуацией, они в целом становятся понятны. И наши конвенции относительно грамматических времен так хорошо работают, что мы практически в них черпаем материал для формальных исчислений. Но если все так прекрасно определено, откуда берется пространство для головоломок и путаницы?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны указать на определенное стремление, которое в некотором смысле заполняет весь наш язык. Мы хотим иметь в своем языке только утверждения такого типа, которые не являются зависимыми в отношении их истинности или ложности от каких бы то ни было обстоятельств, при которых эти утверждения произносятся. Мы не хотим иметь утверждение, которое мы называем «правильным» и «оправданным фактами», когда оно делается одним лицом, и неправильным, когда оно делается другим лицом и должно быть заменено некоторым другим утверждением. Точно так же мы не хотим утверждения, которое мы называем «правильным», когда оно сделано в одном месте, и неправильным, когда оно сделано в другом месте, и должно быть заменено некоторым другим утверждением. Существуют также случаи, когда мы чувствуем нечто в том же роде в связи со времени, в котором мы делаем утверждение: если мы правы, говоря нечто в определенное время, то мы иногда чувствуем, что мы должны быть правы, говоря то же самое во всех других временах. Это означает, что мы противостояим, в определенных фреймах сознания, даже легким систематическим переменам грамматического времени, которые претерпевают утверждения, когда они переходят из одного периода в другой. Мы можем выразить наше общее стремление, сказав, что мы хотим, чтобы наши утверждения были независимы от «внешних обстоятельств» в отношении их истинности и ложности: «факты» должны быть стабильными независимо от того, истинно ли то, что мы говорим, и больше ничего не должно приниматься во внимание. Но такой способ говорения был бы всерьез никому не нужным, потому что он зависит от типа языка, на котором мы говорим, независимо от того, имеются ли еще при этом внешние обстоятельства. Если мы говорим на языке, в котором утверждения, разрешенные в одном месте, систематически отличаются от утверждений, разрешенных в другом месте, то в таком языке внешние обстоятельства не будут ре-

шающими в вопросе о том, сделано ли истинное или ложное суждение, в зависимости от того, было ли оно сделано здесь или там. И те, кто пользуется таким языком, совершенно законно протестовали бы против того, чтобы «нечто было выброшено другими языками», которые игнорируют все локальные обстоятельства употребления. Но суть в том, что мы действительно частично говорим вещи, которые могут переходить от одного человека к другому, от одного места к другому, от одного времени к другому, без всякого изменения их истинностного значения, и мы смотрим на вещи с этой точки зрения, когда говорим, что время, место и говорящий являются внешними обстоятельствами и требуем от наших утверждений, чтобы они игнорировали их.

И вот побуждение, стоящее за этими строгостями, кажется просто побуждением, направленным в сторону более адекватной коммуникации, которая является фундаментальным импульсом, поддерживающим существование языка. Мы готовы принести в жертву локальный и персональный колорит или периодически меняющийся вкус, чтобы наши утверждения могли быть вручены неизменными другим людям, которые по-другому ориентированы или находятся в других ситуациях по отношению к нам. Но это не та жертва, которая дает пищу для возникновения наших путаниц: если мы всегда говорим строго в третьем лице о ком бы то ни было, включая себя самого, если мы избегаем наречий «здесь» и «там», если мы очистим наш язык от грамматических времен и будем говорить исключительно в терминах дат и вневременных причастий, мы никогда не будем вовлечены в трудности. И в научных целях возможно и даже желательно, чтобы мы говорили именно в такой манере. Однако наша трудность возникает потому, что мы пытаемся общаться таким способом, а это нелегко; мы чувствуем, что что-то стоящее, важное пропускается и пытаемся сочетать наш старый способ говорения с новым. Так МакТаггарт первым предложил нам порядок событий, в котором нет различий между прошлым, настоящим и будущим, но есть лишь различия между раньше и позже, в котором каждое событие всегда является событием определенного рода и всегда занимает одно и то же положение во времени-пространстве: затем он соскальзывает обратно в другой способ говорения, в котором события являются в настоящем, прошлом и будущем и всегда изменяют эти модальности. И его попытка сочетать эти способы говорения в результате дает вопрос на который нет ответа: как может одно событие иметь несовместимые свойства — быть прошлым, настоящим и будущим? В то время как, если мы говорим на обыденном языке, мы никогда не станем говорить таких вещей одновременно, а если мы говорим на искусственном безвременном языке, то вопрос не может и возникнуть, до тех пор пока не возникнут модальности, о которых шла речь. Это как если человек пытался бы заменить употребление личных местоимений таких, например, как «я», «ты», «он» и т. д., в языке, в котором все, что может быть сказано с истинностью одним человеком, может быть сказано с истинностью всеми другими людьми, и тогда бы он встал лицом к лицу к вопросу «Как может одно и то же лицо быть и я, и ты, и он?» Но поскольку мы видим источник этой путаницы, мы с легкостью преодолеем ее.

Перевод с английского *Вадима Руднева*